

Александр Левитов

Целовальничиха



Александр Иванович Левитов

Целовальничиха

«Больной и измученный иду я по большой дороге – и вьется она предо мною бесконечно длинною лентой. Полдневное солнце палило мучительно голову, и ни одна мысль не могла войти в нее, хотя я и делал все усилия, чтобы подвинуть к деятельности мой мозг и тем сократить дорогу...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0021
III.....	.0034

Александр Иванович Левитов
Целовальничиха[1]
Из дорожных воспоминаний
[2]

Больной и измученный иду я по большой дороге – и вьется она предо мною бесконечно длинною лентой. Полдненное солнце палило мучительно голову, и ни одна мысль не могла войти в нее, хотя я и делал все усилия, чтобы подвинуть к деятельности мой мозг и тем сократить дорогу.

Бегло и без участия скользил взор мой по придорожным вешкам с пожелтевшими от жара листьями, и тоскливо напрягался он в даль, стараясь увидеть в дали этой версту полосатую. Не только души человеческой, даже птицы не видно было в это время в поле, даже жнецы запрятались от жара под тень сжатых крестцов и отдыхали там. Одни только кузнечики неумолчно звенели в опаленном солнцем овсе; неслыханной прежде птички, должно быть, уютно запрятавшейся в гнезде, голосок раздавался – слабый, засыпающий голосок, и казалось, что все это: и поле, и хлеба, на нем посеянные, трава и дорога с пылью своей, от времени до времени вздымающейся к небу столбом-великаном, все это, казалось,

страшно страдало. Голове моей воспаленной, глазам моим блуждающим казалось, что все это горит огнем нестерпимым, что мукой, неведомой людям, одержима природа.

Только одна страшная необходимость двигала вперед ноги мои. Неудержимо хотелось в то время лечь под тень вешки и спать. Но далеко позади меня остались люди, близкие сердцу, которым страдания мои должны были доставить возможное счастье. Не нужно мне особенно напрягать мое воображение, чтобы они представились мне как живые. Стоит только зажмурить глаза – и вот предо мной добрая, любящая сестра моя. Смотрит она на меня с своей приветливой, силы мои всегда воскрешающей улыбкой и говорит: «Иди. Я молюсь за тебя!»

За милость божью – идти с ней в это время рука об руку – все бы на свете я отдал...

И такова была напряженность души моей в то время, что страдания тела уже не томили ее. Полная каким-то сладостным, неотступно жаждущим и молящим о мире и счастье чувством, парила она в бесконечное небо – и небо лило на нее свет свой, и в свете этом уто-

нула она и предала забвению бренность тела и грубую подлость действительной жизни...

Великая тайна природы открылась тогда мне. Посреди этого недвижимого, ужас навещающего своим мертвым молчаньем пространства осязательно почувствовал я присутствие той высокой божией деятельности, которая оживляет и умиротворяет душу человека, восстанавливая в ней ее ослабевшие силы.

Нет места, в котором не проявилось бы могущество твое, бог мой! И для человека нет места, пустыни такой безжизненной нет, в которой бы он находясь мог сказать без ропота на благодать твою: один я здесь!..

И я не один здесь, затем что вижу я, как – вон недалеко от большой дороги – солнце блистает на золотом кресте сельской колокольни, едва заметными точками вьются и мелькают около креста быстрые касатки – предвестницы грозы и дождя; а прямо предо мною из-за редкого леса, как будто навстречу, выходят деревенские крыши.

У дверей первого дома, где я остановился пить, бред мой прошел. Хозяйка дома, юркая

такая баба, рожденная быть кухаркой у коломенского дворника, подперла кулаком щеку свою и жалобно смотрела на меня.

На конце деревеньки, в которой только домов с десятков и было, возвышался какой-то невиданный мною доселе пригорок, закрывавший собою небольшой пруд. Росло на этом пригорке несколько березок раскидистых и поразительно зеленых. Я уже собирался было идти туда, потому что, прошедши перед этим три степных губернии, редко, бывало, удавалось днем, в селе, выпроситься отдохнуть. Городской сюртук распугивал деревенских ребятшек, которые за отсутствием старших, ушедших в поле, остаются дома со слепыми бабками или с неподвижными от старости дедами.

– Ты куда же, красавик, собираешься-то? Ты вот отдохни возьми: в избе хошь, так в избе, а то бы на сенницу пошел, аль в сенях, может, хочешь? Ну, в сенях отдохни, – отдохни в сенях-то. Ишь вить, рай у нас в сенях-то. Ни мушки, ни блошки, ни комарика.

Язык не хотел повернуться, чтобы сказать спасибо за ласку. Так ныло и страдало тело,

измученное непривычным трудом. От глиняного полу сеной веяло такой освежающей, такой нежащей прохладой, что трудно было придумать в это время постель более удобную.

– Ты что же, касатик, так прямо на пол ложишься-то? Ты погоди, я вот тебе подушчонку подброшу, – подушчонки-то у меня, признаться, перовые – мякота! Я сама не люблю как-нибудь-то! Мягко спать-то люблю я, грешница! О-ох! Как нам на том свете за грехи-то наши тяжкие отвечать будет? А уж люблю, люблю, родимый, помягче соснуть!..

И она действительно подбросила мне какой-то блин в засаленной пестряди, который только самому живому воображению мог напомнить настоящую подушку, хотя и это было для меня такой роскошью, которой не знал я в продолжение почти трех недель.

Лежу я, а неумолчный язык бабы вызывает в душе моей страшную злость на нее, затем что мешает мне она отдаться тому сладкому сну, которого так жаждет усталое тело.

– Откелича идешь-то, голубчик? – звенит досадная баба.

– Из Саратова.

– Вишь ты, какие еще мудреные города есть на свете? Саратов, говоришь? А далеко он от наших местов?

– Не близко. Тысячу пятьсот верст от вас до Саратова будет!

– И-и, батюшки мои! Тысячу пятьсот! Вот махина-то. Иерусалим-то, стало быть, не в нашей стороне, а то солдатик один прохожий рассказывал мне, что до Иерусалима-то от нас только тысячу верст. А ведь дальше его, говорят, ни одного города нет. Там вон, солдатик-то говорит, за Иерусалимом-то – слышь? – и земля кончается, – там уж, он говорит, пошла вода одна да высь поднебесная. Ты не слыхал про это? Страшно, надобно быть, как там это вода-то около города ходит?..

– Нет, не слыхал, – ответил я мучительнице своей безжалостной. – Ты вот что, хозяйка, ты покуда оставь меня, – я сосну, мы тогда поговорим с тобой.

– Вишь ты, желанный ты мой! Намаялся, соснуть хочешь? Ну, спи со Христом, сосни, – оно тогда вольготней будет тебе идти-то. Холодком-то гораздо вольготней пойдешь. А ты

ВОТ ЧТО ТОЛЬКО СКАЖИ МНЕ: ТЫ ИЗ КАКИХ? Вишь, вон у тебя лицо-то не мужицкое, словно и руки-то, вишь, белые какие, не то что у меня: вишь ручишши-то! Ты из дворовых, что ли? Барин-то каков у вас? У нас вон у барина-то в усадьбе (видел небось усадьбу-то? мимо шел) так дворовые-то: мальчишки там, да оно и девчонки, все такие беленькие. Все в барина, – настоящие барченята, хоть известное дело: летом-то, по улице бегаючи, загорят немного, а все на наших детишек-цыганят не похожи. То ли уж оттого это, что отцы их, а пуще матери от барина, значит, каждый месяц чай с сахаром получают. Да нет! Вот вить, кажись, и сама я, грешное дело, самоварчик имею, так оно часто приходится с богомолкой какой, аль вон поверенные в кабак наезжают, так, значит, дашь им самовар, а они чайком и попоют. А все как-то детишки-то мои не то, что дворовые. Те как картинки писанные, а мои всё цыганята цыганятами... То-то я и спросила тебя: не из дворовых ли, мол, постоялец? Вишь, мол, белый какой.

– Нет, я не из дворовых.

– Так ты, значит, барин выходишь. Бумаги,

должно, в суде пишешь? Так бы ты и сказал, – я бы самовар завела.

– После заведешь. Только ты уйди, пожалуйста. Я сосну немного.

– Спи, спи, родимый. Христос с тобой! Только ты послушай, что я тебе скажу: ты, должно быть, в Москву али в Питер идешь места искать? Пошли тебе бог, касатик, только не оставь ты меня, Христа ради. Ты вот послушай: ишь, жисть-то моя какая крошечная! Знаешь небось, какие в людях мужики-то живут? День-деньской проработает да жене с детками покой доставив; а у меня, несчастной, не таков муженек-то! На другой он на мне – слышь? – женился-то. Не за ним бы мне быть, кормилец, да выходит судьба-то моя такая несчастная. Всегда он у нас на деревне ледащим считался, – все бы, значит, в кабак ему только, и бородища-то у него, как первая жена умерла, уж индеветь начинала, а мне-то в то время только двадцатый годок доходил. Да вишь ты, сердешный ты мой, напасть-то какая на наш дом тогда навалила: с краснорядцем одним (провалился он в тартарары!) и загуляй я. Ну, значит, девчонка у меня в то вре-

меня случилась; а он, старик-то мой, и присва-
тайся за меня. Я туда, я сюда; а родитель у ме-
ня жесткий такой старик был (царство небес-
ное пошли ему, господи!), брови эдак как
сдвинет, да и говорит: иди, говорит, за Ан-
дрея, а то с света сживу. Вот, кормилец ты
мой, вышла я за него; а он возьми землю-то
свою мужику и отдай. Он, говорит, подушное
за меня будет платить, а сам я, говорит, му-
жицким делом заниматься больше не буду.
Торговать, говорит, хочу, авось разживусь,
так купцом буду. А какой он, ветер эдакой,
торговец! Пойдет вон с молодыми поповича-
ми али с писарями птичек ловить, сети там
разные вяжет да свистюльки костяные выта-
чивает. А там скучится, ко мне придет, под ру-
ку что попадется стащит да в кабаке и сидит.
Вот его и торговля вся, а сам все на судьбу да
на бесталанье свое жалуется. В разговоре та-
перича с кем-нибудь, ежели ему кто на несча-
стье свое пожалуется, так он сейчас и гово-
рит: «Да ты-то что говоришь? Ты вот на меня
посмотри: уж на что, кажись, молодец, а ишь
судьба-то лихая как доконала...» А какая, кор-
милец, судьба-то его? Жалуется только на

судьбу-то, а она на него и глядеть-то не будет. У бар дело другое: там, пожалуй, и судьба; а у нашего брата мужика, как я таперича, темная женщина, рассуждаю, судьбы-то и нет совсем... Вот я, кормилец ты мой, и маячусь с ним так-то восемнадцатый год. Где мытьем берешь, а где катаньем. Сама третья, ты таперича возьми в расчет, прокормиться должна. Старика-то, ветра-то своего буйного, я уж и не считаю, а вот про дочек-то говорю, – невесты уж почитай.

– Так как же ты пробавляешься? – спросил я, полусонный, но все-таки заинтересованный ее положением.

– Как пробавляюсь-то? Да я и сказать тебе не умею, как я пробавляюсь. Вот, примером таперича, прохожие идут: где, думают, чаю напиться? Спросят на деревне, их ко мне и пошлют. Самовар, значит, на деревне у меня один только и есть. Редкостная вещь, кормилец ты мой, за пятнадцать рублей я его у солдата купила, с самого Кавказа, говорит, несу – тяжело стало, так продать захотел. Вот я с прохожих по десятке за хлопоты и беру. А там мужички (вишь вон напротив питейный

стоит!) напьются в нем зелья-то своего, да ко мне, чаю, говорят, давай. Мы, говорят, все равно как господа в городе, гулять хотим. Ну, чай – известное дело – трава дорогая, так я в этом разе смородинных листков али цикорию в городе куплю и оттоплю им. Таперича я тебе еще вот что скажу, вот еще каким манером деньга ко мне набегаёт: знаешь, вить, хоть бы таперича в питейном, всякий народ есть. Так иной деньжонки-то все пропустит там, да и одежонку-то стоящую-то, значит, мало-мальски, тоже с плеч спустит (целовальник стоящую одежонку завсегда возьмет, потому он за нее в городе всегда настоящую цену получит). А там, когда придет пора, когда душа с телом расстаётся, – опохмелиться, значит, затребует, а на грешном-то теле сапожишки одни али шапчонка какая, лет пять назад за три гривенника куплена. Так вить целовальник-то такой дряни не возьмет. Ему с старьем-то этим возиться нельзя, – вот ко мне и несут. Ну, дашь ему на шкальчик и возьмешь, значит, вещь. Пускай, мол, лежит – хлеба не просит. А там иной раз человеку понадобится что-нибудь, он и бежит ко мне, знает, что у

меня все эдакое обиходное в залеже есть. Ну тут уж, значит, и пользуешься... Такими разами и обертываюсь я, горемычная, с девчонками своими. Все одно, значит, что сироты. Хотя и есть отец, да все равно, ежели бы его, словно худой травы на пустом поле, совсем не было. А матернее сердце ты еще не знаешь какое, сударик ты мой, потому молод. Уж о себе мать-то ни в жисть хлопотать не будет, а вот об дочушках-то хлопочу, их бы вот пристроить хотелось. Смотришь, смотришь ину пору, кормилец, на них: как это они, значит, в сиротстве-то да в убожестве своем время проводят, так сердце-то кровью у меня и обольется. Меньшая-то, значит, ничего еще. Вишь, вон девка какая. Здоровая, большая девка! Она у меня ко всякому крестьянскому делу приучена, ну, на улице, значит, никто ее и не обегает, знают потому, невеста справная будет. А старшая-то, любчик ты мой (к мужу-то, значит, до закону-то какую я привела...), вишь, хилая какая. Ох, сердцу-то моему дорога, вить, она, любовный ты мой!.. Так я ее миткальному делу, все равно как на фабрике, сама выучила; а на фабрику не пущаю, потому

там народ такой – шальной народ... Долго ль такому народу девку испортить? Вот, кормилец ты мой, мы с ней дома миткаль и ткем. А она все плачет да в город просится. Я, говорит, мамынька, господам служить буду, – потому, значит, что по хилости-то ее вниманья ей на селе никто и не дает: какая, дескать, жена она будет, когда таперича такие девки бывают, каких в гроб краше кладут. Не токма что живые. Ну, известное дело: девичье сердце – ему это забольно, а мне и того больше. Вить, она, старшая-то, красавик ты мой, вить, она помянница счастью моему старинному – гульбе моей девичьей... Так ты вот что, красавик, для бога прошу. Придешь ты в Питер али в Москву, да местечко тебе господь милосердый пошлет, так ты барыне там, што ли, какой, ежели, то есть, узнаешь такую (да как поди не узнать? возьми да и скажи ей: вот, дескать, такая и такая девка у меня на примете есть. Не угодно ли, мол, вам, барыня-сударыня, эту, значит, самую девку в рабы к себе взять? Вот как она скажет тебе: давай сюда девку, так ты и напиши мне, а я ее приведу. Признаться, девка тут у нас в соседней дерев-

не есть, проживает она все больше в Москве, и теперь, все равно как барыня какая, в пышных эдаких платьях ходит и вот так же, как ты, из бумажки, значит, табак курит. Ну и заходила ко мне эта самая девка с приятелем своим чай пить, так я ей на свою беду великую и пожаловалась, а она мне и говорит: ты, говорит, дочь-то свою со мной отпусти. Чего, говорит, тебе лучше? Я в Москве, говорит, на барынь атласные башмаки шью, так и ее бы этому мастерству научила. А мне, кормилец, с этой девкой дочку отпускать-то больно не по нутру: греха, пожалуй, с ней укусить можно... Так ты, желанный ты мой, похлопочи об этом самом деле, господь тебе, и не увидишь, как за это милость свою окажет, а магарыч мой. Я сейчас самовар заведу.

– Хорошо, хорошо! Подожди самовар заводить. Я так, может быть, похлопочу. Только ты, ради бога, сделай милость, дай мне уснуть, – говорил я хозяйке, предполагая, что она окончила свой рассказ.

Между тем, слушая рассказ этот, я находился в каком-то безотчетном, полусонном состоянии, так что слова хозяйки мешались

в разгоряченной голове моей с бывшими прежде дорожными впечатлениями. Мне казалось, что будто все еще иду я по большой дороге, и рогатые вешки по-прежнему смотрят на меня, махая на прощанье как будто своими пожелтевшими ветвями; а звонкий голос бабы нестерпимо больно врезывался в уши мои с своей печальной историей про любимицу старшую дочь и про диковинный самовар. Страшно-мучительно было мне в это время сознавать свое бессилье; а баба все будто бежит за мной и все громче и жалостнее умоляет меня помочь ей пристроить к месту дочку ее ненаглядную. «Кормилец, кормилец ты мой, – будто бы вопит она, – барыне там в Москве какой-нибудь потолкуй про нее. Я тебя за это чаем сейчас напою...»

Потом виделось мне, что то место, за которым шел я в далекую столицу, получило какой-то уродливый, человеческий образ и побежало от меня со всех ног: я, говорит, боюсь тебя. Ты за мной, говорит, в Иерусалим ступай. Нам с тобой хорошо будет там. Сам я как будто соглашался с этим, потому, что живо представилась мне тогда картина самого

крайнего на свете города, нарисованная хозяйкой, около которого одно только беспредельное небо да одни только шумные волны океана неведомого и нигде не описанного. Как убитый спал я, и самым страстным желанием горела душа моя – как можно скорее видеть это место, в котором так редким удастся бывать...

Разбитый, умоляющий голос человека разбудил меня. Из клетки, которая стояла на маленьком дворе, слышно было, как голос этот плутовски, но ласкательно говорил кому-то:

– За что я тебя люблю-то, плутина ты эдакая? Отчего ты никогда из старой головы-то моей не выходишь? Вить уж знаю: не кормилица ты мне, вить уж сколько я слышал, как это мать-то вам с сестрою советы дает – отца старого по шее от дома гнать, – пьяница, дескать! А вы бы с матерью-то посмотрели, каков я только человек есть. Я вот в степь, как ты таперича полагаешь, зачем хожу? Чему, чему смеешься-то? Ты погоди смеяться-то. Небось вот как отец-то клад там отроет, бочек эдак двенадцать с золотом, ну, с серебром хошь, так вы тогда рады будете... А таперича в три рта всякому трубите: тятка наш пьяница, тятка наш, как парень какой малоумный, по ночам сети птицам на полях ставит, – да вить я и в степи-то про вас не забываю, все про вас думаю: а про тебя – душа вон сейчас

выйди! – больше всех вспоминаю: эка, мол, какая у меня Параша разумница народилась!.. И вот ты слушай, Параша, хошь ты мне верь, хошь не верь, а я тебе вот что скажу: вчера на Наяновом бутре (знаешь, в соснечку-то?) в самую полночь клад я видал. Свечкой он, этта, да такой светлой, таким, этта, огнем разноцветным так и горит. Я к нему; а он взял с сосны-то дерев через пяток перелетел да и говорит мне (слышь?), человек ровно, и говорит: я, говорит, здесь лежу... Я было, этта, копать сейчас, да в Махонове (побери его притка лихая!) петух, стало быть, и закричи: а огонь-то возьми да стухни. Уж тут не до перепелов мне было: всю ночь продрожал, и вить как, я тебе скажу, устал, так ты не поверишь... Вот бы таперича, Параша, ты лихая девка была, если бы, значит, тово... У матери из сундука мне бы пятиалтынный сварганила. Да ты чему, чему смеешься, дура? На вино, думаешь, прошу? Глаза лопни, не на вино; а надо, значит, струмент такой купить – клад рыть. Эхма! Всю бы я тебя матёрьем самым что ни есть лучшим завернул. Наших, мол, знай!! Во, дескать, как мы расфуфынились!

– Обманываешь, тятка! Ну, где ты тапери-ча на деревне струмент купишь? Ты вон лопату возьми да лом у целовальника попроси, ну и копай, – отвечал молодой женский голос на убеждающую рацею кладоискателя.

– Дура, дура ты неповитая! Без тебя знаем, что лом да лопату нужно взять; а струмент само собой нужен, – без него никакое, значит, заклятье действия не будет иметь. Во что! Так ты, значит, ежели тапери-ча любишь отца, так без разговора ступай к матери, ну, хошь, попроси у ней пятиалтынный, коли сама взять не хошь. Она тебе даст, ты скажи ей: тятка, мол, заплатит тебе, клад, мол, на Наяновом бугре видел. Ты думаешь, я тебя в обиду матери дам, нет – не туда глядишь! Чуть она что, так ты сейчас ко мне, я ей дам себя знать... А ежели тапери-ча клад мне не дастся, так я сам уйду караулить – купец анамедни из города звал: я, говорит, тебе, Андрей, жалованья никакого не пожалею, потому знаю, говорит, каков ты человек есть – лихой как есть старичище ты, говорит. Вот как нас с тобой, Параша, купцы-то знают. Эх! Кабы не судьба-то лихая!.. Ну, иди же, иди, Параша!

Я бог даст, с купца получу, так не токмо пятиалтынный, а – ей-богу! – возьму в город пойду да платок тебе рубликов эдак в пяток и отцеплю. Ну, мол, понашивай себе на здоровье!

Звонкий хохот девушки, вероятно, уже привыкшей к таким обольстительным обещаниям, был ответом старику. Быстро выбежала она от него из клетки и бросилась в избу.

– Мамынька, мамынька! – смеясь, кричала она. – Тятка на Наяновом бугру клад видел, пятиалтынный велел у тебя попросить – струмент, вишь, ему нужен какой-то...

Как-то особенно покряхтывая и поплеывая, в старой шляпенке, надетой, впрочем, набекрень, вошел в сени старик.

– Дура, как есть дура, – потихоньку ворчал он. – Ничего ты с этим бабьем путного не поделаешь. То ли бы дело мальчишки – сейчас бы сдул... Эх! судьба, судьба! И в детях-то ты счастья мне не дала.

В избе, где, вероятно, предполагали, что я все еще сплю, шел оживленный разговор про меня.

– Что он, должно быть, богу молиться

идет? – говорил мягкий женский голос, не принадлежащий ни хозяйке, ни ее дочерям.

– Да я, признаться, кормилица, хорошенько-то его об этом не спрашивала, – отвечала хозяйка. – Я вот все его больше насчет Параша-то утруждаю, потому вижу: барин он, надобно быть. Ты вот глянь-ка, сапоги-то у него какие! вишь, голенищи-то какие длинные, а внутри-то вишь: вить это сафьян! Надобно быть, дорогова вещь стоит. Ну, поэтому он барин и есть – небольшой, а барин. А насчет богомолья, на душу греха не возьму, не спрашивала.

– Тебе бы спросить надобно. Может, он просто в Москву идет или дальше еще куда-нибудь, – говорил прежний голос. – Тебе бы обо всем надобно его расспросить, потому на чужой стороне хорошо, должно быть, словом перемолвиться.

И в голосе этом слышалось такое участие к человеку, занесенному на чужую сторону, так симпатично выразил он свое наивное предположение, что около меня повеяло чем-то как будто родным; дома как будто, в родном семействе показалось мне, что сижу я – и род-

ные, ласковые лица окружили меня и спрашивают: на чужой стороне хорошо, должно быть, словцом перемолвиться?

Движение какое-то невольно сделал я. Быть может, я хотел посмотреть на эту женщину, сказавшую доброе слово; но муж хозяйки пришел ко мне в это время.

– Что, барин, устал? – говорит он. – Идти-то вить – не за столом сидеть да бумаги писать. Небось ноги-то зудят? Ты бы их винцом порастер, – мы, пожалуй, сейчас сбегает. Вас вить все научи...

Ради доброй мысли, сейчас только мною услышанной, я дал ему денег и попросил сходить за вином, рассчитывая тем, что останется от ног, угостить старика.

Самым сумасшедшим манером кто-то проскакал в это время по большой дороге и остановился близко где-то, должно быть, у кабака.

В тишине этой, которая обыкновенно бывает перед грозой, когда даже мухи засаживаются в запечные и потолочные трещины и жужжат как-то тихо и сдержанно, особенно громко раздался звук ямского колокольчика. Слышно было, как от судорожного вздрагива-

ния остановившихся недалеко лошадей брел-чала их медная сбруя и отрывисто звенел колокольчик. Молния ярко освещала сени, в которых сделалось очень темно; а тучи подходили все ближе и ближе, наводя на природу какой-то мрачный, ужасающий колорит.

Часто, как дробь барабана, полился дождь на раскаленную землю и потом вдруг перестал. Солнышко вдруг проглянуло, как будто хотело спросить у земли: не очень ли дождь холоден? И, должно быть, отвечала земля, что не холоден дождь, потому что опять полился он на нее еще сильнее прежнего.

Неизвестный человек неистово заорал в это время под окном.

– Што ты, Сашка, все междворничаешь? Ай дома делов нету-ти? Бельмы-то у тебя провалились, што ль: разве не видишь, Евграф Иванович приехали? – И мимо меня быстро пробежала женщина в черном ситцевом платье.

– Батюшка, барин! Прости ты меня, ради бога! Глянь-ка, напасть-то какая случилась, – с жалобным хныканьем говорил вбежавший в сени старик-птицелов, показывая в то же

время осколки разбитой посуды. – Только что, значит, вышел я из кабака, держу посудину-то в руках, да, признаться, грешный человек, и подумал: выпил бы, мол, таперича, маненечко. Ну, думаю, барин-то, мол, хороший, кажись. Как, мол, не поднести? Поднесет старику-то – да и осклизнись (грязь там на улице-то – вишь дожжик-то как наяливает), осклизнись я, значит, а посуда-то и разбейся... Кормилец ты мой! Ты, должно быть, к Сергию-Троице идешь? Так ты оттуда-то заходи к нам. Я тем временем припасу тебе, а таперича, право слово, денежки одной за душой нет. Я к тому времени с купца получу – сад, значит, караулить звал. Нас вить все знают здесь... Однава дыхнуть заплачу; а коли я, может, по своим торговым делам в город отлучусь, так с жены получи, я ей велю заплатить.

– Пьяница, пьяница ты беспутная! Ты думаешь, не видит барин, что ты ему глаза отводишь? Сколько уж ты посуды-то на своем веку перебил? Ай для эдаких разов нарочно осколки-то приготавливаешь? Вот как схвачу я их, бессовестный ты эдакой, да в старую харю твою влеплю их все до одного, так ты, мо-

жет, перестанешь добрых людей обманывать. Плательщица за тебя жена-то? Духу твоего чтоб не пахло здесь, каплюга ты эдакая!.. Вишь вот, барин, жисть-то моя какая кромешная, – промолвила она, исключительно обращаясь ко мне.

– Эх ты, судьба! – отчаянно махнув рукою, сказал птицелов. С азартом бросил он на пол шляпенку свою и повалился на скамью с очевидным намерением всхрапнуть часик-другой; а тут еще дождик накрапывает, тучи на небо ровно сумерки навели, так и зеваается...

– Пошел! – забасил недалеко голос человека, находившегося, по-видимому, на четвертом взводе, и неистово-залихватски, свища и гогоча, заорал на своих лошадей ямщик, и мне показалось, что злобно залился колокольчик: часто, мол, нашего брата беспокоют-то. Эдак, пожалуй, настоящего века не выживешь!..

Мне почему-то казалось, что это уезжал Евграф Иваныч – и действительно, девушка в черном ситцевом платье, которую по случаю его приезда так грубо неизвестный человек звал домой, опять вошла в избу.

Долго я смотрел на только что вошедшую в избу девушку, и казалось мне, что я давно уже знаю ее, – и обман этого представления был так велик, что сильно хотелось говорить с ней о трудности моей дороги, о месте, для которого шел я из-за тысячи верст, впечатления свои дорожные я хотел передать ей, думая почему-то, что это облегчило бы душу мою.

Смеясь ложному положению, в которое поставила меня впечатлительность моего воображения, я в то же время досадовал на самого себя за то, что не мог разрешить в себе этого, как мне казалось, обмана души, потому что лицо девушки дышало такой голубиной кротостью, прелестью какой-то воодушевляющей так было полно оно, что я слышал будто, как говорило оно: расскажи мне все без боязни, потому что бог на то мне и дал добрую и светлую душу, чтобы разгонять ею мрак в других душах.

– Ты вот что, желанная, – говорила ей хозяйка моя, – ты вот останься с нами чаю попить. Я вот для барины-то самовар завела, потому, значит, он мне насчет девки-то похло-

потать обещался.

– Эхма! Чайку-то и мы бы таперича попили, – отозвался птицелов из сеней, которому шум кипящего самовара не давал заснуть, разманивая его сладкой надеждой накатить себя горячей водой вплоть до горла.

Но ожидания старика были напрасны, потому что девушка сказала в это время хозяйке:

– Ты закрой самовар, ежели сама пить не хочешь. Я у сестры спрашивалась чай пить их к себе звать. Только пойдут ли они? Вы пожалуйста к нам чай пить, – обратилась она ко мне. – Вы ведь странник, сестра велела мне, как ни можно, звать вас.

Хозяйка, вероятно, предполагала, что нашей милости обидно будет чай в кабаке пить; а потому сочла обязанностью из-за плеча девушки делать мне разные знаки, которые имели поощрить меня принять приглашение. Плутовски моргая глазами, она в то же время сжала ладонь свою наподобие стакана, поднесла ее к своему рту и делала вид, что она пьет из нее что-то такое, что доставляет ей невыразимое удовольствие.

Я не мог понять сразу, что означали такие сигналы, и вопросительно поглядывал на хозяйку, и уж тогда только выразумел, что она сулила мне даровое угощение, когда она выхватила из своего кармана какую-то медную монету, выразительно показала ее мне и опять спрятала, чем как будто хотела сказать, что выпить там ты, дескать, выпьешь, а деньги твои все-таки целы будут.

– Пойдемте же, пожалуйста, – с какою-то особенной лаской говорила мне девушка.

– Иди, иди, барин, – юлила хозяйка. – Ты барышню нашу послушай, – она у нас барышня хорошая.

– Я и не думал отказываться, – ответил я девушке. – Я пойду с удовольствием.

И мы пошли.

– Што бы тебе, Саша, старика-то с собой захватить, – обратился к спутнице моей птицелов, разлегшийся на скамейке с комфортом, видимо, удовлетворявшим его. – Свои люди – сочлись бы, – говорил он, прищуривая глаза с видом человека, желающего нравиться. – Сами бы тебя в случае нужды выручили.

– Ты уж находи клады-то свои поскорейча,

так я тебя тогда своим чаем-то напою; а к людям-то добрым навязываться бороды бы своей седой постыдился, – ответила хозяйка.

– Эх ты, зверь лютый! – прошептал птицелов и с решимостью человека, увидавшего, что злой судьбы своей не переспоришь, растянулся во всю длину скамейки...

Одна сторона крыльца, приделанного к питейному дому, была завешена старым ковром, за который в старину, вероятно, много денег заплачено было. Откуда и как попало в такую глушь это украшение барской спальни, трудно было решить. Иван ли несчастный какой, бросивший родимое гнездо вследствие барского азарта и собственной охоты к шатанью по белу свету, отдал этот ковер целовальнику за косушку и старые лапти; или старая барыня-приживалка, пользуясь суматохой, произведенной в доме смертью ее благодетельницы, запрятала его в свой всепоглощающий узел и на дороге из эдема продала его за бесценок, чтоб расчесться с грубияном извозчиком? Капли только что переставшего дождя падали на ковер и смывали с него едва заметную яркость шелковых разводов, некогда украшавших его, и ветер без пощады шлепал его о столбы и перила крыльца.

Стол стоял на крыльце, а на нем самовар с необходимым чайным препаратом. Дым из самовара валил таким же густым клубом, ка-

кой валит из трубы паровоза. В дыме этом, как в тумане, рисовалась женская фигура, сидевшая за чайным столом. Под звон чашек, которые мыла и вытирала она, раздавался пьяный говор человека, до того закрытого дымом, что виднелись только лохмотья какого-то жалкого старого платья.

– Барыня, барыня, – жалобно умолял человек, закрытый дымом, – всего только вить двух копеек недостает!

Прикажи шкальчик отпустить старику. Вить я за вас на сражениях кровь проливал...

Глухие удары, как будто бы в грудь, слышались мне, – и действительно, когда порывом ветра унесло дымные клубы, я увидал, что пред целовальницей стоит личность, напоминающая и отставного солдата, и старого дворового, которого, за негодностью к службе, отпустили, как говорится, на подножный корм...

Стоит перед барыней старик, одну руку к ней протянул, а другою в грудь себя бьет.

– Отслужу, – говорит, – отпусти шкальчик за четыре копейки. Рученьку, – говорит, – у вас поцеловать мне дозвоьте.

Нет, – думаю я себе, – не солдат это: не станет за вино бабьих рук целовать, а непременно дворовый. Разжалобить хочет целовальницу, называясь солдатом, надеется обмануть ее бородой своей, долго не бритую.

– Проваливай, проваливай! Много вас тут по большой дороге шатается, – с негодованием тараторила фигура, сидевшая за столом. – Милости просим, садитесь-ка вот на скамейку-то, – прибавила она, обращаясь ко мне.

Это была маленькая смуглая женщина, которых так много в степных уездных городах и которые составляют их язву. Ни один муж, какого бы ни был он громадного роста, не смеет, как говорится, пикнуть перед ней в трезвом виде. Самая маленькая рюмка, пропущенная им, приводит ее в неизъяснимое бешенство, хотя она сама ничуть не прочь от такого наслаждения под тем предлогом, что вследствие своего несчастного замужества тем только и прогоняет от себя разные болезни, удручающие ее, что винца с калганчиком[3] выпьет.

В праздник какой-нибудь, когда ни один живой человек не обходится без выпивки, непременно можно видеть, как такие персо-

нажи поднимают с своими сожителями гвалт невообразимый. Все народонаселение городка собирается около жалкого домишка и смотрит, как мещанин, разбешенный неестественными приемами водки, вымещает на жене все ее гнусные претензии, которыми она тиранила его целую неделю, и как эта разъяренная кошка вцепилась к нему в волосы и замерла в них...

А потом все это с гиками и воплями мчится в полицейский дом подавать городничему явки и показывать ему раны свои, означенные в прошении смертельными.

И знают эти женщины до малейшей черты все, что бы ни случилось в городке и даже в окрестных слободах, – какими-то непонятными путями проникают они в старательно закрываемую от них жизнь человека, занесенного злою судьбой в эту сферу, и неизбежно возмущают тишину ее своими пошлейшими соображениями относительно тех черт ее, которых они не успели еще открыть.

Такова была женщина, которую я увидел на крыльце питейного дома. С грациозностью крепостной мамзели, получившей, по случаю

двадцатисемилетия, вольную от холостого ба-
рина и живущей теперь на своем отчете, по-
дала она мне гигантскую чайную чашку и
весьма деликатно извинилась в том, что не
может представить мне никакой закуски, по-
тому, собственно, случаю, что в деревне ниче-
го эдакого скусного достать невозможно.

В первый раз я так близко сошелся с осо-
бой такого сорта. Имевши несколько случаев
видеть их издали, мне всегда хотелось по-
смотреть на них вблизи, и потому, чтобы за-
ставить ее говорить не стесняясь, я принял на
себя роль молодца, служащего в земском суде,
с шиком стукнул громадными закаблучьями
моих ратнических сапогов и довольно густым
басом проговорил:

– Сударыня, за честь почту. Не беспокой-
тесь!

– Можно вас просить водкой? – спросила
она.

– Можно-с, – ответил я, – просите, – и она
вытащила из кармана посудину и яйцо и по-
дала мне, предоставляя самому распоряжаться
этими продуктами.

– Рюмочки нет ли-с? – спросил я. – Такого

количества по болезни употребить не могу-с.

– А я, признаться вам сказать, – улыбаясь, говорила целовальница, – как теперь, примечением, в деревне нельзя, значит, никаких удовольствий найти (потому народ все дикой-с), так от скуки люблю этим заняться.

И она щелкнула пальцем по опорожненному стакану.

– У меня тоже-с портной есть знакомый, вот так же-с охоч-с; а человек образованный и мастер отличный. Нельзя, впрочем, мастеровому человеку и не пить-с, потому участь его такая-с, – глубокомысленно заметил я.

– А за меня, скажу вам, много чиновников сватались, тужу, что не пошла-с, потому как я женщина откровенная и политику знаю, чрез мужа своего очень несчастна. Одно слово: мужик – от сохи взят на время. А тогда барыней бы, может, была.

«Грабьте больше с мужем, – думал я, – а потом откуп возьмите; вот оба тогда господами и будете...»

– И вот об ней, об сестрице, тоже скажу: отбою нет от женихов – и купцы, и чиновники мимо нашего дома в городе (когда жить там

случается) так и шмыгают, да не урезонишь никак ее по сердцу себе выбрать. Хлеба (бога покуда не гневим) для ней не жалеем, да по родству жаль, потому по себе знаю: девичье сердце по суженом сохнуть должно. А по-божьему сказать, так тысяч двух на разживу молодым не пожалели бы, если бы человек нашелся хороший и ей по нраву. Ну, и дом тоже за ней отдадим (сот семь, а то и все восемь непременно стоит). Потому, знаю я, брат в него не вступится: для него, при его мастерстве, новый себе выстроить плевка стоит; а нам не нужно: мы с мужем, хоть часть-то наша питейная нынче больно плоха стала, – одначе-с, с божией помощью, как-нибудь себя-то прокормим.

– Напрасно, сударыня, желающих осчастливить не изволите, – отнесся я к девушке, которая привела меня в гости.

Признаться сказать, идеальничанье мое относительно ее стало уже выходить из моей головы потому, что личность сестры ее, ее старанье пустить мне, как говорится, пыли в нос давали мне некоторое право припомнить себе пословицу, что, дескать, яблочко от яб-

лоньки далеко не откатится, и я просто-напросто начинал подумывать о разных, обыкновенных в уездных городах, историях, гласивших о добрых молодцах, которые любили при случае выпить на чужой счет и которые, вследствие этой наклонности, совершенно неожиданно находили себя счастливыми супругами и еще счастливейшими отцами семейства, так сказать, благоприобретенного.

Но в это время я подметил на лице девушки какое-то грустное выражение, вследствие чего мне стало совестно моей пошлой фразы, и потому, не покидая, впрочем, прежнего тона, я сказал ей:

– Женихов, равных вам, в нашем городе, я думаю, найти невозможно, сударыня?.. Я вот в Москву буду, так графчика какого-нибудь свататься за вас оттуда пошлю.

Целовальница поощрительно засмеялась моей остроте и чихнула.

– Правду, должно быть, – ответила целовальница, – сказали они сейчас, тут же вот и чихнула я. Будем теперь графа ждать.

– Напрасно они так говорят, – ответила девушка сестре, – потому, как я теперь рассуж-

даю, никакой граф свататься за меня не будет; да и их ехать к нам не послушается.

И я видел, как на долгий взгляд мой, прошивший у ней прежней ласки и примирения, ответила она мне тою ясной кротостью взора, который так необыкновенно поразил меня при первой встрече с нею.

Сам целовальник вышел в это время из капища своего, заспанный детина такой. На длинном, рябом лице его просвечивалась удаль какая-то, уснувшая, впрочем, теперь, и трудно было определительно сказать, могла ли когда-нибудь пробудиться удаль эта или она уже так заснула, чтобы никогда не просыпаться ей. Редкие волосы его, поседевшие прежде времени, давали право предполагать, что жизнь его прошла не без тревог, если бы только можно было отвергнуть то обстоятельство, что русые молодцовские кудри не могут просто-напросто побелеть от раннего и частого купанья их в водочном море...

Не знаю, что заметила в нем целовальница; но улыбающаяся физиономия ее вдруг изменилась.

— На минуту на одну нельзя одного оста-

вить! – затрещала она с азартом. – Хватил уже!

– Молчи! – прошипел целовальник.

– Нечего молчать-то, – кипятилась она. – Ты предо мной молчать должен: знаешь, место-то кому дадено?..

– Мол-лчи, – прохрипел муж, как злая, на короткую цепь привязанная собака. Девушка, как мне показалось, хотела было встать и уйти. – Куда? – заревел целовальник. – Барыня, што ль, ты какая, – на пьяного зятя смотреть не можешь? Морду разобью! Здесь сиди!..

– Бесстыдная, бесстыдная рожа твоя! Ты бы хошь при чужих людях-то постыдился! – резонировала целовальница.

– Мол-л-чи, змея! Знаю. Терпенья мне, барин, с ними нет никакого, потому, все равно как змеи какие, поедом съели меня. Вот уж я вам задам звону! Долго будете помнить! Папироску мне пожалуйста, не курил долго.

Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы к крыльцу не подбежало в это время двое мужиков. Радостью сияли эти мужики...

– Слухай, малый, статья какая знатная прилучилась, – кричал один из них, обраща-

ясь к целовальнику. – Подавай только таперича, – упоштоваться во как должны! Слышь, прасолы уманские гурт в Москву гнали. Пьяны, што ль, они нарезались, волк их зарежь! Только скотину-то свою по хлебам и распусти; а мы и нагрянь, да двадцать пять целкачов и слупили с них за потраву. Во как! Подавай теперь на все, – наши сейчас привалят!

Темно уж было. Месяц как будто украдкой смотрел сквозь густые ветви вешек, росших на противоположной стороне большой дороги, и мирно отдыхала земля, охлажденная недавним дождем.

Неприметно юркнула в кабак целовальница, и на улице слышно было, как звонкий голос ее покрывал собою бурные речи мужиков. На крыльце остались только я с девушкой да самовар, все еще продолжавший петъ свои непонятные песни.

И видел я, как временный хозяин мой, птицелов, прошмыгнул в кабак, в шляпенке своей, надетой набекрень, по своему обыкновению покряхтывая и поплеывая, за ним юркнула (из травы придорожной как будто бы выросла) личность, смахивающая и на от-

ставного дворового, та самая, которую видели мы в начале главы.

– Скажите: зачем вы с моей сестрой таким толстым голосом говорили? – спросила у меня сестра целовальницы. – Вы давеча, как я вас в первый раз видела, вовсе не так говорили.

– Скажите мне прежде, – ответил я, – вам, полагаю, здесь хорошо жить; а если не хорошо, отчего вы не едете к брату вашему в город?

– Отчего это думала я во все время, как вы здесь сидите, что вы меня об этом спросите? – говорила девушка как бы сама с собою. – Я вам теперича вот что скажу: и отсюда, и от брата из города, если меня туда отвезут к нему, я убежать хочу, потому сил моих нет!

– Отчего же?

– Нет, вы слушайте, что я вам только скажу: я давеча видела вить, как вы в сенях-то спали. Только я и говорю себе: все им расскажу. Может, думаю, не полегче ли мне будет от этого? Видите вы, жисть-то моя какая здесь: за что он кинулся на меня? И сестра опять: вить она на словах только... Нет! Как, бишь, это давеча думала я говорить с вами, забыла

совсем, – продолжала девушка с очевидным напряжением высказаться. Затем продолжала она почти шепотом:

– Я вам одно скажу: душа у меня очень болит, потому меня никто не любит здесь, и мне любить некого.

Зять, скажу я вам, часто больной от запоя лежит: пойдешь это к нему, и, кажись, сама бы легла на его место, только он бы встал. Так нет, закричит сейчас: уйди, говорит, вишь ужалела!.. А чего он не верит-то? Разве я ему зла могу пожелать! А то вот еще (только вы не смейтесь надо мной, пожалуста): вы вот в Москву идете, возьмите меня с собой, ради бога, потому (я бы вас любить стала за это) человек там у меня знакомый есть – посмотреть хочется.

К самому уху моему наклонилась она, чтобы прошептать мне последние слова своей просьбы. Голову свою наклонила она на мое плечо и с тихими, но истеричными рыданиями шептала мне: «Возьмите, возьмите меня с собой, я бы хоть на могилу того человека взглянула...»

– Маменька, когда жива была, так мне с

ней хорошо было, потому я с ней говорила все, что хотела, и уж большая была я, а она возьмет меня к себе на колени посадит да сказки и рассказывает. Ну и хорошо было тогда, а теперь, видите, брат у нас был (уж и хорош же покойник был – высокий, черноволосый такой), обручница у него возьми да умри; а он и запил. Да как запил-то? По целым неделям, бывало, домой глаз не казал; а когда придет, так каменной ровно, обопрется руками об стол да ни одного слова ни с кем во весь божий день и не вымолвит, – тосковал; а как просидится – в трактир или в кабак сейчас опять и уйдет. Не хочу, говорит, непьяными глазами на божий свет смотреть. Ну, однажды на берегу в траве и нашли его: волной, значит, выбросило, – илом это всего занесло. Очень мы с маменькой убивались по нем: только я-то на грех жива осталась, а она после братниной смерти на третий день убралась. Хорошие люди-то богу, как я теперь вижу, завсегда надобны, потому всех их он к себе собирает. Да и как умирала-то? Святая ровно! Плачет, плачет, бывало, да потом вдруг и начнет говорить мне: «Умереть мне, Саша, ох

как не хочется! Одну тебя сиротой на этом свете тяжело покидать, а вынести никак не могу. Прощай, Саша! А ежели, – говорит, – тебе бог горе какое пошлет, так молись ему пристальней!..»

А там, в кабаке, своим чередом своя драма игралась.

Место за прилавком было пусто, потому что целовальник закатывал вприсядку под бойкую песню знаконца-птицелова. Сидит этот злою судьбою гонимый старик на винной бочке и, присвистывая и пристукивая, извещает публику, что

*А и нет у нас такого молодца,
Как Андрея да Мироновича!*

– Эх-ма, – говорит, – про себя песню играю, потому знаю я, каков я человек есть. Слухай, честная компания: вишь, как есть старичища вить я, а получше целовальника завсегда выходить можем. Держись, длинный, – закричал он целовальнику, и начал старичина прямо с дробы, приговаривая: – Вот так-то мы в стари-ну-то! – Потом, изменив каданс и пляски и поговорки, закатил ту, во ужас сердце приводя-

щую, присядку, за которую всякому удальцу, отличившемуся по этой части, благодарные зрители всегда говорят эти многозначительные слова: «Спасибо, милый ты человек, – уважил ты нас, черт тебя забери, подлец, до отвалу...»

Целовальница тщетно уговаривала своего мужа перестать безобразничать.

– Ступай спи, – говорила она ему, – любезное дело сделаешь.

– Молчи! Сам знаю, – запальчиво отпихивал он ее и продолжал состязаться с птицеловом, твердо, по-видимому, убежденный в том, что, так сказать, идея, за которую стоял он, требовала от него или блистательной победы, или, по крайней мере, славной смерти.

– Не мешай, мать, – говорили. – Вишь, дока на доку наехала!..

– Вы туда смотрите? – спросила меня Саша. – Вам это в диковинку, а я присмотрелась уж. Сначала, не поверите вы мне, как я жале-ла об них, инда сердце защежит, бывало, как они это перепьются да образ человеческий потеряют. Что я только делала тогда, дура я эдакая! Смотрю, смотрю я, бывало, на них, в

чулан возьму уйду да богу там и молюсь, чтобы он беса от них отогнал... Вы думаете, не бес это в них сидит? Маменька-покойница, я помню, как говорила, что в пьяном человеке завсегда бес сидит. И за что мне жалеть их? Вот они теперича зятя с сестрой в соблазн ввели, так они, может, целую неделю пить будут, потому оба в запое... Часто это случается, так я знаю уж: придут завтра ко мне и в долг станут вина у меня просить – поправиться чтобы... Сколько уж я зарекалась им вино в долг отпускать, потому не получишь после, и надо мной же смеяться все будут: дура, говорят, ленивый только ее не надует; а не могу, потому душа разрывается, как это с похмелья трясутся они да Христа ради умоляют душу отвести. Жаль станет их – и отпустишь; а зять проспится, недочет на полках увидит, так еще прибьет наприбавок.

– Ох, умереть бы мне лучше! – сказала она, – потому переносить не могу, как это меня бьют и ругают, когда я же им добро делаю. Тошно делается мне тогда, так волосы на себе все бы и вырвала – и уж тут не только что за них, а за себя, так и то долго богу-то молиться

я не могу, потому зло берет...

– А истинно это: помолишься когда, так забудешься ровно, покойнее как-то на душе делается. Да вить что же? Вить на день успокоишься-то, на два так много уж; а вы вон туда посмотрите, – сказала она, указывая в отворенную дверь кабака. – Я вить почитай каждый день пьянство-то вижу: придут это они, напьются тут, ну, все меж собой друзьями и приятелями сделаются. Долго смотрю я на них иной раз и вижу: без хитростей говорят они тогда меж собой, – всякую злобу друг на друга забывают. Вот и я так хочу, потому, может, и мои думы рюмка разгонит...

– Про такое дело-то я вам вот что скажу: когда мы еще в городе жили, так у нашего соседа чиновник один на фатере стоял (из Москвы аль из Питера прислан был в наш город – не могу сказать), только, господи, как он это запивал здорово! «Как это вы, – спросила я у него однажды, – умный такой человек и за всегда запиваете?» – «Другому бы не сказал, но тебе скажу, потому вижу: умная девка ты. (Ей-богу, он только да мать в целую жизнь одни меня умной считали.) Вот отчего запиваю:

счастья, – говорит, – в жизни ни разу я не видал, а посмотреть, что это за птица такая, очень хотел бы. Удачи, – говорит, – нет ни в чем, – понимаешь? Вот теперича родных у меня, где бы я корни свои попросторнее мог распустить, ни одного нет; а из чужих-то по сердцу себе никого не нашел да, должно быть, и не найду. Так вот мы теперь, – говорил он, – барышня-сударышня, корни-то эти, просто-ра-то какие просят (понимаешь?), – мы их штукой вот этой – водой-то живой – и подсекаем». Сам он мне это говорит и смеется, рукой своей шею мне обнял. «И тебе, – говорит, – при случае это пригодиться может; а мы, – говорит, – рады доброго человека за-всегда на ум-разум наставить...»

– Вот и мне также корней-то своих, как этот чиновник, не подсечь ли? Видите, живой воды-то сколько? Не занимать стать, – говорила она, улыбаясь, и странно мне было видеть и слышать, как в это время вместе с выражением лица ее изменился у ней и самый образ выражения мыслей. В грустной позе ее видел я глубоко оскорбленное чувство прекрасной природы, а в тоскливых жалобах ее слыша-

лись мне жалобы души на нищету да на бедность земную.

Тоном драматической артистки, глубоко изучившей роль свою, тихо и задумчиво говорила она:

– Правду, должно быть, барин-то говорил! Все равно теперича я что дерево какое-нибудь. Какое бы оно выросло большое да зеленое, ежели бы на него в пору солнцем светило да в пору дождем поливало! А то нет вить: лес это дремучий окружит его со всех сторон, деревья сучьями своими прикроют его отовсюду, так его ни дождь не пробьет, ни солнышко не увидит – и хилеет оно до тех пор, пока не сгниет совсем.

– Только вить то дерево бесчувственное. Сердце-то у него не болит вить, как у живого человека болит оно, когда он видит, что смерть прийти-то пришла к нему, а счастья-то он своего еще не видал и не знает совсем, что это за птица такая, – продолжала она, копируя слова своего знакомого чиновника, которые, как заметно было, произвели на нее сильное впечатление. – Не знаю только сама, что говорю я, потому разве можно че-

ловека с деревом равнять? Разве дерево, когда ломаться начнет, будет у кого-нибудь спрашивать: зачем же, дескать, росло-то я здесь? Никто вить в лесу-то дремучем ни разу и не взглянул на меня. А я-то думаю об этом всегда почти, душа-то у меня за каждый день об своем горе тоскует, потому добрых слов от добрых людей ни разу, почитай, не слыхала!.. А вы видели добрых людей? – вдруг спросила она у меня.

– Видел.

– А слова добрые от них слышали? Такие слова, какие бы (как бы это сказать-то вам?), ровно солнце, душу вашу согрели, счастье на целый день принесли бы вам.

Вспомнил я в это время тот добрый и вполне человеческий круг, в котором суждена мне была высокая честь вращаться некоторое время, – людей этих пылких, смотревших прямо в глаза каждому, вспомнил я и, одушевленный прекрасным представлением, ответил ей:

– Слышал. Знаю людей я, – говорил я ей, – которые горю другого сочувствовали и помогали, как своему горю; слова от них такие я

слышал; когда я вспоминаю об них, душа моя как будто бы видит их, и если со мной в это время несчастье какое бывает, так при воспоминании об них я его забываю...

– А я-то, я-то когда ж увижу того человека, на какого смотрела бы я и обо всем забывала? – воплем страшно болезненным, из самой глубины души как будто бы вылетевшим, ответила она на слова мои и зарыдала...

– Выдь, выдь на свободный воздух-то, выходи поскорейча, а то там тебя пуще духом-то винным в голову бьет, – говорил мужик, вытаскивая из кабака кума, находившегося в решительном сумасшествии.

– Эх ты! Уж и хорошо же только, братцы мои! – дискантом каким-то завывал несчастный, махая руками и неестественно выдвигая вперед грудь; а потом лицом в траву, опушавшую вешку, упал он и смеется, – рад, что до чертиков напился...

– Слышите: вишь, вон гуляет. Хорошо, говорит, ему. А чем хорошо-то? Вить я знаю: сенья-то у него теперь на одном мякинном хлебе сидит. Забылся он, – вот ему и кажется хорошо. И мне бы так забыться, хошь бы один

день в жизни без муки прошел.

– Да што ж это говорю-то я? – продолжала она, как будто пораженная внезапною мыслью. – Забыться-то мне никак невозможно, потому вещь не такая... (Не хотела было, право, рассказывать вам, – стыдилась все, а теперь расскажу, потому вытерпеть не могу...) У дьякона нашего в городе сын был, в губернии он там в семинарии учился, – умный такой! О Рождестве, сказываю вам, брат – портной-то – вечеринку и вздумай сделать – и вить чливый такой он у нас, так всех это приказных к себе и созвал: хочет, значит, штобы с одними господами знакомство водить; потому, говорит, сам я в коротком платье хожу... А на Рождество-то семинаристы все домой приезжают, так он и их притащил – и сын-то дьяконов тоже пришел. Только вижу я: все это кавалеры такие смелые, смеются, с барышнями заигрывают и водку пьют то и дело; а он сидит себе и в разговор ни с кем не вступает. Подруги подходили к нему сами на метелицу звать, так он пуще их покраснел, – сконфузился и не пошел: не умею, говорит...

– Приказные вслух смеяться над ним зача-

ли: кутейник, говорят, обращения никакого политичного не знает, – а товарищи его выручать, надо быть, хотели: гитару ему братнину дали – сыграй, говорят. Долго он тут на гитаре-то играл, и таково хорошо играл – в жисть мою никогда не забуду!..

– А тут в фанты и начни мы играть. Ему и досталось исповедником быть. В особенную комнату отвели его, свечи там загасили и стали ходить к нему исповедоваться поодиночке – и кавалеры и барышни.

– Вот мне очередь идти к нему и приди – и не знаю сама, отчего это мне стало страшно тогда... Вхожу к нему, а он стоит у печки и папироску курит. Спрашивать ему надобно было, в чем грешна я; а он бросил на пол папироску, стоит повесивши голову да молчит... Господи! Вот уж до сих пор узнать не могу, что меня толкнуло к нему: на шею упала я к нему, заплакала и говорю: любить меня будете? А он мне и шепчет: я давно, говорит, вас люблю, никому не говорил только...

– Как же мне забыть его? – говорила она, наклонившись к плечу моему. – Три раза тем годом виделись мы с ним – к отцу гостить

приезжал. Уж и как же только ласкал он меня – ввек не забыть! Цветком все звал, – подожди, говорил все, курс окончу, так женюсь на тебе, – всего один год остается!

– Вот вить правду, должно быть, люди-то говорят: против судьбы не пойдешь. У бога, надо быть, в книге записано, чтобы счастья мне с ним не видать. Кончил он в губернии ученье-то свое; а начальство в Москву его доучиваться и пошли, а он там два года пожил да умер... Бог его к себе взял, чтобы счастья мне с ним не знать!..

– Куды, куды к морде-то лезешь? Сами сдачи дадим! – неистово ревел птицелов в кабаке.

– Раз-з-зобью! – гремел, в свою очередь, ценовальник. – Жены моей поносить не смей.

– Вишь, важная штука жена у него. Не утаишь шила в мешке, завсегда оно вон вылезет. Не знаем, думаешь, зачем Евграф Иваныч к тебе ездит? Вишь, управляющий с ним знакомство свел, – с свояченой он твоей знаком-то, по чьей милости ты на месте-то держишься!..

– Не верьте, не верьте, – с страшным раз-

дражением шептала мне девушка. – Это врут они. Они человека ни за што завсегда опорочат.

– Не смей девку трогать, – в пррах расшибу!

– Налети – счастья попробуй. В землю сразу вобью. Даром, что ты осина такая длинная уродилась, а в землю вколотить тебя с одного кулака завсегда возьмусь. Небось и сестра твоя распутная с Евграф Иванычем своим не найдут тебя там...

– Господи! Умереть бы мне!..

– Богу молитесь! Помните, как мать-то ваша вам говорила.

– Буду, буду молиться; только не верьте вы им, ради бога! – и она быстро убежала от меня в сенной чулан.

К квартире своей пошел я. Месячным светом залита была деревенская улица, и полночная тишина невозмутимо царила над ней.

Боже! В души больные моих страдающих братьев тишь бы такую ты насылал...

1861

Примечания

Целовальничиха. – Целовальниками на Руси называли продавцов вина в трактирах, кабаках.

[^^^]

Печатается по изданию: «Степные очерки», т. III. М., 1867, с. 48—113. Впервые опубликовано в газете «Русская речь», 1861, NoNo 26 и 27, с подзаголовком «Очерки из народной жизни». В сентябре 1860 года (уже работая в Москве секретарем редакции «Русского вестника») Левитов пишет сестре: «Дорога моя в Москву была совершенно счастлива... Ноги страшно болели, впрочем, на дороге встретил я в селе Зарайского уезда девушку-целовальницу, которая послужила мне поводом написать повесть: „Целовальница“, которая скоро будет печататься» (Нефедов, с. LXXVIII).

[^^^]

3

...винца с калганчиком... – Калган – пряный корень.

[^^^]